# На вершине счастья

# Джон Апдайк

Нил Хави заехал за мной разодетый, как на праздник. Он остановил синий «крайслер» своего отца на грунтовой дороге подле нашего амбара, вылез из машины и стал — коричневый двубортный пиджак из габардина, руки в карманах, шевелюра уложена мокрой расческой, — щурясь снизу вверх на погнутый давнишним ураганом громоотвод.

Мы собрались в Чикаго, поэтому я надел поношенные штаны и вельветовую рубашку, из которой вырос. Но с Нилом я всегда чувствовал себя в своей тарелке, так что мой внешний вид меня не слишком беспокоил. Мы с родителями вышли из дому и пересекли лужайку, раскисшую после оттепели, которая случилась в самое Рождество; а бабушка, хоть дома я и поцеловал ее на прощание, вышла на крыльцо, согбенная и суровая, — на голове нимб из непослушных седых старушечьих волос, рука, искореженная артритом, тревожно подрагивает у груди. Смеркалось, и мой дед уже пошел спать.

— Никогда не доверяй тому, кто носит красные галстуки, а волосы зачесывает на прямой пробор, — напутствовал он меня напоследок.

Мы ждали Нила еще днем. Мне было считай уже двадцать, я учился на втором курсе колледжа и приехал домой на каникулы; той осенью на лекциях по искусству я познакомился с девушкой и влюбился. Она пригласила меня встретить Новый год с ее родителями и погостить несколько дней у нее дома. Она жила в Чикаго, как и Нил теперь, хотя мы с ним учились в одной школе, тут у нас. Его отец, по-моему, торговал сталью — здоровенный такой дядька, откроет, бывало, свой «дипломат» и скажет: «Нынче хорошо идут двутавровые балки», — отчего он все время был в разъездах, вот почему Нила лет с тринадцати определили жить к Ланкастерам, родителям его матери, миссис Хави. Они жили в Олинджере с тех самых пор, как тот стал частью большого города. Так что Джесси Ланкастер, который с присвистом дышал на нас, мальчишек, изрыгая из больной гортани чудовищные сальности про девушек, целыми днями напролет проходивших мимо его крыльца, был горожанином вдвойне. В конце концов отец Нила получил работу на постоянном месте, но оставил Нила у деда с бабкой, чтобы он спокойно окончил школу. На утро после выпуска Нил целый день крутил баранку, чтобы воссоединиться с родителями. Из Чикаго до нашей части Пенсильвании семнадцать часов езды. За минувшие год и восемь месяцев Нил частенько наведывался к нам на восток. Он обожал водить машину, а Олинджер был единственным местом, которое все-таки можно было назвать домом его детства. В Чикаго Нил работал в гараже, а тем временем министерство обороны выправляло ему зубы, чтобы затем забрать в армию. Шла война в Корее[[1]](#footnote-1). Короче, ему нужно было возвращаться, а мне — уезжать, так что все складывалось удачно.

— Ты чего это вырядился?! — сразу возмутился я.

— Нужно было кое с кем попрощаться.

Узел его галстука был ослаблен, а уголки губ испачканы помадой. Много лет спустя мама вспоминала, что в тот вечер от него так разило пивом — ей даже было боязно отпускать меня с ним. «Твой дед всегда считал его деда очень подозрительным типом», — сказала она тогда.

Отец с Нилом уложили мои чемоданы в багажник. В них была вся привезенная мной одежда, потому что мы с моей подругой собирались потом прямиком возвратиться в колледж на поезде, и, значит, я уезжал из дому до весны.

— Ну, ребята, до свидания, — сказала моя мама, — вы оба очень смелые парни.

Если говорить обо мне, она намекала не столько на опасности, которые подстерегают на дорогах, сколько на мою девушку.

— Да вы не беспокойтесь, миссис Нордхольм, — быстро ответил Нил. — Он рискует не больше, чем у себя в постельке. Уверяю вас, проспит до самой Индианы.

Он посмотрел на меня, противно подражая материнскому любящему взгляду. Когда они пожимали друг другу на прощание руки, это было рукопожатие равных, обоюдное осознание моей полной беспомощности. Меня поразило, как ловко он обвел мать вокруг пальца; но ведь можно дружить с человеком годами и ни разу не увидеть, как тот ведет себя со взрослыми.

Я обнял маму и поверх ее плеча попытался запечатлеть на воображаемой фотопленке наш дом, рощу поодаль и еще дальше — закат, скамейку под орешиной, на которой дед поедал им же очищенные от кожуры дольки яблок, и колею на лужайке, оставленную грузовиком из пекарни сегодня утром.

Мы проехали полмили по проселочной дороге до шоссе, которое в одну сторону вело через Олинджер в Олтон, а в другую — через поля на платную магистраль. Какое блаженство после тягостного расставания подцепить двумя пальцами сигаретку из пачки в кармане рубашки! Домашние знали, что я курю, но я никогда не курил при них: мы все были слишком щепетильны, чтобы ставить друг друга в неловкое положение. Я прикурил свою сигарету и подержал спичку, чтобы прикурил Хави. Наша дружба была непринужденной. Приблизительно одного роста и одинаково неспортивного телосложения, мы были на пару лишены того, что возбуждает чувство преданности и верности у красивых девушек. У Нила были кривые зубы, у меня — кожная аллергия; и то и другое пытались излечить, когда мы меньше всего в этом нуждались. Но, как мне казалось, самым важным в нашей дружбе и наших неудачных попытках стать настоящими любовниками, при всей нашей любви к женщинам, было то, что и он, и я жили со своими бабушками-дедушками. Это обостряло наше видение — как прошлого, так и будущего; мы знали о ночных горшках в спальнях и полуночных приступах кашля, подстерегавших большинство мужчин, и знали, как проходило детство до 1900-х годов, когда страной заправлял фермер, а Америка обращала свой лик на запад. Мы приобрели некую человечную грань, благодаря которой стали мягче и насмешливее своих сверстников, но зато и неувереннее их на танцплощадке и нерешительнее в автомобиле. Девушки терпеть не могут сомневающихся парней — для них это равносильно оскорблению. Мягкость ценят замужние женщины. (Так рассуждал я тогда.) Девушке, которой из ниоткуда даровано богатство, равное всей слоновой кости Африки и всему золоту Азии, не хочется вот так запросто принести его в жертву обычной человечности.

При выезде на шоссе Нил свернул вправо, к Олинджеру, а не налево, к магистрали. Я тотчас обернулся и посмотрел в заднее ветровое стекло — убедиться, что никто из моих этого не заметил, хотя розовый треугольник ведущей к дому дорожки проглядывал сквозь оголенные кроны деревьев.

Нил снова включил третью скорость и спросил:

— Ты спешишь?

— Да нет. Не особенно.

— Шуман устраивает новогоднюю вечеринку на два дня раньше, так что можем заехать. Я подумал — заедем на пару часиков, заодно и пробку переждем, а то сам знаешь, что творится на магистрали в пятницу вечером.

Его губы осторожно шевелились и смыкались поверх дурацких, неудобных серебристых скобок.

— Давай, — сказал я. — Мне все равно.

Во всем, что случилось после этого, меня преследовало ощущение, будто меня подхватило и понесло.

От фермы до Олинджера было четыре мили. Мы подъехали по Бьюкенен-роуд, мимо высокого белокаменного дома, где я родился и жил до пятнадцати лет. Мой дед купил его до того, как я появился на свет и его акции обесценились — причем оба события произошли в один год. Новые хозяева украсили входную дверь и крышу парадного крыльца разноцветными лампочками. В центре города картонный Санта-Клаус все еще кивал из витрины закусочной, но из динамика, установленного на лужайке гробовщика, больше не доносились рождественские песнопения. Уже совсем стемнело, поэтому дуги красных и зеленых огней над Гранд-авеню казались чудом вознесения. При дневном свете было видно, что лампочки просто свисают с натянутого кабеля на проводах разной длины. Ларри Шуман жил на другой, более современной окраине города. Огоньки взбегали по углам его дома и прыгали через водосточный желоб. У его соседа на лужайке стояли фанерные сани с оленями и снеговик из папье-маше, прислонившийся к углу дома как бы в подпитии (глазки у него были обозначены крестиком). Снег в ту зиму еще по-настоящему не выпал. Но в вечернем воздухе ощущалась грядущая непогода.

В гостиной у Шуманов было тепло. В углу стояла достававшая до потолка голубая ель, утопавшая в мишуре. У ее подножия колыхалось море оберточной бумаги, ленточек и коробочек, в которых еще лежали подарки — перчатки, ежедневники и прочие маленькие сокровища, пока не затянутые в водоворот благосостояния. Шары на елке были величиной с бейсбольные мячи и все либо алые, либо синие. Елка была так роскошно наряжена, что мне стало неловко находиться с ней в одной комнате без костюма и галстука, в старой зеленой рубашке не по росту. Все остальные приоделись, как подобает для вечеринки. Затем явился мистер Шуман и подмял своим гостеприимством Нила, меня и еще троих парней, объявившихся к этому часу. Он оделся для выхода в город — ванильного цвета пальто, серебристое шелковое кашне, сигара в зубах с еще не снятым кольцом. При виде мистера Шумана становилось ясно, откуда у Ларри рыжие волосы, белесые ресницы и самоуверенность, но то, что в сыне было самодовольством и нахрапистостью, в отце было спокойным осознанием своей силы и опыта. То, что раздражало в одном, располагало в другом. Пока хозяин развлекал нас, Зоя Лесснер, возможная невеста Ларри и единственная пока девушка среди гостей, мило беседовала с хозяйкой и кивала всей шеей, теребя нитку магазинного жемчуга и выпуская сигаретный дым из уголков рта, чтобы не дымить в лицо взрослой женщине. От каждой струи трепетал медовый локон, спускавшийся с виска Зои. Улыбка миссис Шуман умиротворенно сияла над ее норковой шубой и сумочкой, отделанной горным хрусталем. Было непривычно видеть ее облаченной в атрибуты благополучия, которое обычно присутствовало незримо, поддерживая ее добрый нрав подобно жесткому матрасу под уютным цветастым стеганым одеялом. Все ее обожали. Она была истинная уроженка этих мест — пенсильванская немка, нарожавшая сыновей, которых она вечно пичкала едой, и воображавшая, что всему миру живется так же вольготно, как ей. Ни разу я не видел, чтобы она кому-то не улыбалась, разве только своему мужу. Наконец она выпроводила его за дверь. Он обернулся на пороге и воззвал к нам:

— Ведите себя хорошо, а если это не в ваших силах, не забывайте про осторожность.

Теперь, когда они нам не мешали, нужно было достать выпивку. Знакомое занятие. Есть у кого-нибудь поддельные водительские права? Если нет, у кого хватит смелости подделать свои собственные? У Ларри есть тушь. Кстати, старший брат Ларри, Дейл, возможно, дома и мог бы съездить с нами, если это не займет много времени. Правда, обычно по выходным он с работы сразу идет к своей невесте и остается там до воскресенья. На худой конец, Ларри знает одно заведение в Олтоне, где отпускают из-под полы, но у них там обдираловка. Выход нашелся неожиданно. Гости все прибывали, и один из них — Куки Бен, который попал в наш класс потому, что был второгодником, заявил, что в ноябре прошлого года ему, вообще-то, исполнился двадцать один год. Немного обескураженный, я вручил ему свою долю денег; оказывается, грешить так легко и просто.

Завсегдатаем таких вечеринок я был всю жизнь, начиная с первой, проходившей в Хэллоуин у Анны Малон, куда я отправился, болтаясь в душном, подслеповатом костюме Утенка Дональда, который смастерила моя мама. Я никак не мог поймать прорези для глаз, к тому же они были расставлены шире, чем нужно, и даже если в облаке марли обнаруживался просвет, передо мной представал угнетающе плоский мир, видимый одним глазом. Я и Анна, сохранившая нечто ребяческое из-за чрезмерной материнской опеки в детстве, и еще один парень с девушкой, не испытывавшие друг к другу романтических чувств, спустились в подвал Шуманов поиграть в круговой пинг-понг. Вооружившись ракетками, мы занимали позиции сбоку от стола, каждый со своей стороны, и после очередной подачи с воплями неслись против часовой стрелки, чтобы успеть отбить шарик. Чтобы удобнее было бегать, девушки скинули туфли на каблуках и вскоре изодрали на цементном полу чулки. Их лица, руки и плечи раскраснелись, и если девушка подавалась вперед к сетке, жесткий край декольте ее вечернего платья немного отгибался, приоткрывая пухлую плоть в белых чашечках бюстгальтера, а если она подпрыгивала, бритые подмышки сверкали, как куриная кожа. У Анны отлетела сережка, и два сцепленных хрустальных камушка упали рядом со стеной у газонокосилки, бадминтонных шестов и бронзовых канистр с машинным маслом, дважды пробитых треугольниками. Все эти картинки сразу же стирались в круговерти нашей беготни. Головы у нас закружились еще до того, как игра закончилась. Надевая туфли, Анна оперлась на меня.

Когда мы толкнули подвальную дверь, она ударилась об опорный столб винтовой лестницы с ковровой дорожкой, ведущей на второй этаж; на ступеньках, ниже середины пролета, сидела парочка и что-то выясняла. Девушка, Джеки Айслин, отрешенно плакала — слезы текли, словно струйки воды по дереву. Еще кто-то был на кухне — там смешивали коктейли и шумели. Остальные в гостиной танцевали под пластинки — тогда еще они были на семьдесят восемь оборотов, жесткие диски, уложенные в громоздкий наклонный цилиндр на проигрывателе Шуманов. Каждые три минуты с резким щелчком сменялась пластинка, а с ней и настроение. Какое-то время звучала песня «Оставайся такой же милой»; Кларенс Ланг с выражением полного идиота на лице стоял и раскачивался из стороны в сторону, зажав бескостную унылую загорелую руку Джун Кауфман; их глаза смотрели уставившись в одну точку, лица слиплись, как личина истукана. Когда музыка остановилась и они отлепились друг от друга, на щеках обоих остались темные следы. И тут наступала очередь «Лох-Ломонда» или «Чероки» Бенни Гудмена[[2]](#footnote-2), но никому, кроме Маргарет Ленто, не хотелось танцевать под джаз. Она как безумная отплясывала в одиночку, очумело мотая головой и вертя задом — сбила подолом юбки на ковер шар с елки, который раскололся на сотни вогнутых зеркал. Дамские туфли невинными парочками рассыпались по комнате. Некоторые, на плоской подошве, мирно забились под диван, нос к носу, другие, на высоких каблучках, повалились на бок, вонзившись шпилькой в свою пару. Позабыт-позаброшен, я сидел один в большом кресле, испытывая теплую щемящую растрепанность чувств, словно в глазах у меня стояли настоящие слезы. На душе не было бы так пакостно, если бы все не было так неизменно. Девушки, сбросившие туфли, за редким исключением всегда присутствовали на моем празднике жизни. Изменения были незначительными: прическа, колечко в знак помолвки, более откровенная округлость. Пока они покачивались в танце, я уловил на их лицах невиданный прежде глянец жесткости, словно плоть у них стала тверже и туже. Грубоватость в чертах парней, как я знал, считалась более закономерной, желательной и потому менее прискорбной. При том что время было военное, парней пришло на удивление много — у кого-то отвод по состоянию здоровья, кто студент, кто просто еще дожидался повестки. Едва пробило полночь, дверь хлопнула, и на крыльце при свете лампы возникли трое парней, окончивших школу за год до нас; какие-то неприкаянные и продрогшие в своих коротких спортивных куртках, — они и в былые времена всегда норовили заявиться на вечеринку к Шуману без приглашения. В школе они слыли спортивными звездами и до сих пор держались с непринужденной расслабленностью людей, хорошо владеющих своим телом. Вся троица поступила в небольшой лютеранский колледж Меланктон на окраине Олтона, и в этом сезоне они играли в баскетбольной команде Меланктона. Точнее, играли двое, третий оказался недостаточно хорош. Шуман, скорее из малодушия, чем из сострадания, впустил их. Они недолго думая скрылись в подвале и никому не докучали, потому что пришли со своей бутылкой.

Случился еще один конфуз. Дарил Бехтель женился на Эмми Джонсон, и супружеская чета пришла на вечеринку. Дарил работал в теплице у своего отца и считался туповатым. А вот Эмми мы хорошо знали. Поначалу никто с ней не танцевал, а Дарил танцевать не умел, затем Шуман, наверное на правах хозяина, решился. Его примеру последовали остальные, но Шуман держал ее в своих объятиях чаще других, и в полночь, когда все сделали вид, что наступил Новый год, поцеловал ее. И тогда комнату захлестнула волна лобзаний, все порывались ее поцеловать. Даже я. Было что-то особенное в том, чтобы поцеловаться с ней — замужней женщиной. С зардевшимися щеками она озиралась по сторонам, ища спасения, но Дарил, смущенный видом своей танцующей жены, ретировался в кабинет папаши Шумана, где сидел Нил, погруженный в загадочную печаль.

Когда поцелуи прекратились, возник Дарил, а я пошел проведать Нила. Он, подперев лицо ладонями, слушал пластинку на патефоне мистера Шумана и ногой отбивал такт, — «Темные глаза» Джина Крупы. Аранжировка была монотонная и занудная, и Нил крутил пластинку снова и снова час за часом. Он любил саксофоны, как, впрочем, и все мы, дети времен Депрессии. Я спросил его:

— Как думаешь, движение на магистрали уже схлынуло?

Он взял высокий стакан со шкафа у него за спиной и основательно приложился к нему. Его лицо сбоку выглядело осунувшимся и синеватым.

— Наверное, — сказал он, уставившись на кубики льда, притопленные в оранжеватой жидкости. — Тебя девушка в Чикаго ждет?

— Вообще-то, да, но можно ей позвонить, предупредить, когда сами будем знать.

— Думаешь, она возьмет тебя в оборот?

— Что ты хочешь этим сказать?

— Разве ты не собираешься быть с ней неразлучно, как только мы доедем до места? Разве ты не собираешься на ней жениться?

— Как знать. Возможно.

— Ну, тогда времени у тебя еще вагон.

Он посмотрел на меня в упор, и по его мутным глазам было видно, что он в дымину пьян.

— Вся беда в том, что вам, счастливчикам, — проговорил он медленно, — совершенно насрать на тех, кому не везет.

Наигранная грубость Нила поразила меня не меньше его обходительности в разговоре с моей мамой за несколько часов до этого. Пытаясь избежать его уязвленного взгляда, я обнаружил, что в комнате есть еще кто-то — девушка в туфлях сидела и читала «Холидей». Хотя она держала журнал заслоняя лицо, по ее одежде и незнакомым ногам я догадался, что это и есть та подруга, которую привела Маргарет Ленто. Маргарет была не из Олинджера, а из Риверсайда, из самого Олтона, а не из пригорода. Она познакомилась с Ларри Шуманом во время летней работы в ресторане, и до окончания школы они были вместе. С тех пор, однако, мистера и миссис Шуман осенило, что различия существуют даже в демократическом обществе, и для Ларри это было, пожалуй, приятной новостью. На протяжении всего почти уже завершившегося года Ларри самым жестоким и изматывающим образом, на какой он был способен, порывал с ней отношения. Я удивился, встретив ее здесь. Должно быть, чувствуя свое двусмысленное положение на этой вечеринке, она привела с собой подругу — как единственную защиту, которую могла себе обеспечить. Подруга и вела себя точь-в-точь как наемный телохранитель.

Я не стал отвечать Нилу и вернулся в гостиную, где вдребезги пьяная Маргарет металась по комнате, словно вознамерилась что-нибудь себе сломать. Умудряясь пробежать несколько шагов в такт музыке, она резким, как щелчок бича, движением вздергивала свое тело так, что подбородок бился о грудь, руки с растопыренными пальцами отлетали назад, плечи подавались вперед. В этом состоянии тело у нее сделалось по-детски податливым, и она, невредимая после встряски, упруго отскакивала назад и принималась хлопать в ладоши, дрыгать ногами и что-то мурлыкать себе под нос.

Шуман держался от нее на расстоянии. Маргарет была невысока ростом, пять футов три дюйма от силы; при миниатюрности зрелость наступает быстро. Она обесцветила прядку своих черных волос до платинового оттенка, коротко постриглась и завила волосы в гиацинтовые кудряшки — как у статуй античных мальчиков. Анфас ее лицо казалось грубоватым, но профиль у нее был, вопреки ожиданиям, классический. Она могла бы исполнять роль шекспировской Порции. Когда она не отплясывала свой дикарский танец, то была в туалете, ее тошнило. Убогость и вульгарность устроенного ею балагана заставили всех, кто был не пьян, чувствовать себя неловко. Общая вина за то, что мы являемся свидетелями ее агонии, сплотила всех, кто находился в комнате, так что казалось, ничто и никогда не в силах нас разлучить. Сам я был совершенно трезв. В то время мне представлялось, будто люди пьют только для того, чтобы не чувствовать себя несчастными. Я же почти всегда чувствовал себя если не на вершине счастья, то вполне довольным жизнью.

Хорошо еще, что рвотная фаза у Маргарет наступила около часу ночи, когда Шуманы вернулись домой. Они лишь бросили на нас беглый взгляд. Забавно было видеть по их улыбкам, что, вопреки нашему нетрезвому и осоловевшему состоянию, мы кажемся им юными и сонными — ну да, друзья-приятели Ларри. После того как они поднялись к себе, все стало стихать. Через полчаса гости начали выходить из кухни, пытаясь не расплескать кофе из чашек. К двум часам четыре девушки стояли в фартуках у раковины миссис Шуман, пока остальные ходили взад-вперед со стаканами и пепельницами. Звон на кухне был прерван еще одним невинным шумом. Снаружи на мерзлой траве троица спортсменов из Меланктона натянула бадминтонную сетку и затеяла игру при тусклом свете, лившемся из окон дома. Волан, то взлетавший, то падавший в неровных снопах света, вспыхивал, как светлячок. Теперь, когда вечеринка выдохлась, апатия Нила обострилась, стала показной, даже мстительной. Еще битый час он упорно крутил «Темные глаза», подперев голову и отбивая ногой такт. В кабинете воцарился какой-то неподвижный, таинственный дух. Девушка все сидела и читала журналы — «Холидей», «Эсквайр», журнал за журналом. Тем временем подъезжали и отъезжали автомобили, прогревали моторы перед домом. Шуман увез Анну Малон и не вернулся. Спортсмены выволокли соседского искусственного снеговика на середину улицы и испарились. Каким-то образом Нил в конце концов подрядился подвезти Маргарет с подругой до дому. Маргарет уже час приходила в чувство в нижнем туалете. Я отворил дверцу стеклянного книжного шкафчика, украшавшего бюро в темной столовой, и извлек оттуда томик Теккерея. Оказалось, это второй том «Генри Эсмонда»[[3]](#footnote-3). Я уселся читать, лень было доставать другую книгу, они все были так плотно и так давно втиснуты на полку, что переплеты почти срослись.

Генри опять собирался на войну, когда в дверном проеме появился Нил.

— Ну, Норвег, — сказал он, — поехали в Чикаго.

«Норвег» был одним из вариантов, производных от моей фамилии, — им Нил пользовался, когда питал ко мне особое расположение.

Мы выключили все лампочки и оставили только свет в коридоре на случай возвращения Ларри. Маргарет Ленто, похоже, очухалась. Нил подал ей руку и усадил на заднее сиденье отцовской машины. Я стоял в стороне, пропуская вторую девушку на сиденье рядом с Маргарет, но Нил жестом показал мне, чтобы я сам туда сел. Полагаю, он понимал, что у несловоохотливой девушки не останется другого выбора, кроме как сесть рядом с ним. Она уселась на переднее сиденье, только это я и видел. Нил вырулил задним ходом на улицу и очень осторожно объехал снеговика. Наши фары высветили в спине снеговика выемку, повторявшую очертаниями угол дома, к которому тот был пристроен.

Если ехать из Олинджера, Риверсайд лежит диаметрально противоположно Олтону. Мы проезжали через спящий город. Большинство светофоров мигали зеленым. Среди прочих городов Олтон пользовался худой славой. Взяточничество, азартные игры, смотрящие на все сквозь пальцы присяжные и публичные дома заслужили ему сомнительную репутацию во всех среднеатлантических штатах. Но мне он всегда являл невинную личину — ряды домов, выстроенных из тусклого рыжего местного кирпича оттенка цветочных горшков; к каждому дому были пристроены небольшие уютные крылечки, и ничто, кроме роскошных кинотеатров и пивных вывесок на главной улице, не говорило о том, что местные жители охочи до удовольствий больше, чем прочие представители рода человеческого. И когда мы на умеренной скорости проезжали по притихшим улицам, окаймленным припаркованными автомобилями, и на каждом углу высилась белокаменная церковь и уличные фонари наблюдали за всем сверху, Олтон казался не столько центром городского конгломерата, сколько пригородом какой-то гигантской мифической метрополии вроде Пандемониума или Парадиза. Я отмечал про себя каждый венок на двери, каждое полукруглое витражное оконце с номером дома. А еще я отмечал про себя, что с каждым кварталом мы удаляемся от магистрали.

Риверсайд удобно устроился в излучинах реки Скул-килл и не имел четкой планировки. Сборный дом Маргарет стоял на небольшой улице. Мы подъехали к нему с тыльной стороны, по короткой бетонке со множеством дренажных решеток. Крылечки были приподняты всего на несколько дюймов выше полотна дороги. Маргарет спросила, не хотим ли мы зайти выпить по чашке кофе, ведь нам предстоит ехать в Чикаго. Нил вышел из машины и хлопнул дверью, тем самым принимая предложение. Грохот сотряс всю округу, и я беспокойно поежился. Меня немного смущала непринужденная светская жизнь в половине четвертого ночи, которая, очевидно, была у моих друзей в порядке вещей. Маргарет тем не менее провела нас в дом украдкой и включила свет только на кухне, отгороженной от гостиной большим диваном, повернутым во тьму, куда пробивался только свет с дороги, переливаясь через подоконник и хребты радиатора. В одном углу виднелось стекло телевизора; экран по нынешним временам показался бы до смешного крошечным, а тогда он представлялся верхом изящества. Если бы я не пришел только что из дома Шуманов, общая обшарпанность не так резала бы глаза. Нил с девушкой уселись на диван. Маргарет поднесла спичку к газовой горелке и, как только голубое пламя лизнуло старый чайник, насыпала в четыре чашки с цветочками растворимого кофе.

Некто, обитавший когда-то в этом доме, устроил закуток у единственного кухонного окна, а попросту будку, стол для завтрака между двумя скамьями с высокими спинками. Я забрался туда и читал все слова, на которые падал взгляд: «Соль», «Перец», «Отведай КУБИКОВ», «Декабрь», «Молоко от Мона, инк. — Счастливого вам Рождества и веселого Нового года! — Молоко от Мона — это полезное молоко! — Мама, хочу молочка от Мона!», «Спички», «ПРЕССА», «Плиты и печи — федеральная корпорация Маги», «Господь проживает в этом доме», «Ave Maria Gratia Plena»[[4]](#footnote-4), «Крученая пшеничная соломка — фантастика от фирмы КУНГСХОЛЬМ». Маргарет подала кофе парочке, устроившейся на диване, а потом пришла с кофе ко мне в закуток и села напротив. Усталость отпечатала у нее под глазами две синие дуги.

— Ну как, — спросил я, — хорошо провела время?

Она усмехнулась, потупила глаза и тихо сказала:

— Шмар. — (Усеченное от «кошмар».)

С рассеянной утонченностью она помешивала свой кофе, доставая и опуская ложку без единого всплеска.

— Под конец стало как-то странно, — сказал я, — даже хозяин исчез. Он провожал Анну Малон домой.

— Знаю.

Меня удивила ее осведомленность, при том что в тот час ее тошнило в туалете.

— А ты как будто ревнуешь, — добавила она.

— Кто? Я? Ничего подобного.

— Она ведь нравится тебе, Джон, разве нет?

То, что она обращалась ко мне по имени, да и сам вопрос не казались мне неискренними (хотя мы только что познакомились, если не считать прежние вечеринки), принимая во внимание поздний час и то, что она принесла мне кофе.

— Да мне вообще все нравятся, — сказал я ей, — и чем дольше я их знаю, тем больше люблю, потому что они всё больше становятся частью меня самого. А еще больше мне нравятся те, кого я только что встретил. Вот Анну Малон я знаю с детского сада. Каждый божий день мамаша провожала ее до школьного двора, когда все остальные родители уже давно перестали.

Я хотел произвести впечатление на Маргарет, но ее глаза были слишком затуманены. Она мужественно боролась со своей усталостью, но от этого усталость только крепчала.

— А тогда она тебе нравилась?

— Я жалел ее за то, что мать ставит ее в неловкое положение.

Она спросила:

— Каким был Ларри в детстве?

— О-о, умница. Только хитрый.

— Хитрый?

— Ну, в общем, да. В каком-то классе мы с ним начали играть в шахматы. Я всегда выигрывал, пока он втайне не начал брать уроки у кого-то из знакомых его родителей и штудировать книги по шахматной стратегии.

Маргарет рассмеялась от неподдельного удовольствия:

— И тогда он выиграл?

— Один раз. После этого я заиграл в полную силу, и тогда он решил, что шахматы — детская забава. К тому же я для него был уже отработанный материал. Он, бывало, сдружится с тобой так, что зазывает к себе в гости каждый день, а потом через месяц-другой найдет себе нового любимчика, и привет.

— Он занятный, — сказала она, — у него, что называется, холодный рассудок. Он решает, чего хочет, а затем поступает как считает нужным, и кто бы что ни говорил — ни за что не изменит своего решения.

— Он и правда добивается своего, — осторожно признал я, сознавая, что для нее это означает одно: «добивается ее». Бедная обиженная девочка — воображала, будто он все это время с редкой изворотливостью продирается навстречу ей сквозь рогатки и препоны, расставленные родителями.

Мой кофе был почти выпит, и я обернулся на диван в соседней комнате. Нил с девушкой сползли вниз и скрылись из виду за спинкой. До этого мне и в голову не приходило, что между ними что-то есть, но теперь, когда до меня дошло, это показалось вполне вероятным, а в такой ночной час — еще и обнадеживающим, хотя это также означало, что в Чикаго мы пока не едем.

И я рассказывал Маргарет про Ларри, она тоже кое-что вставила от себя, обнаружив довольно точное представление о его характере. Для меня такое обстоятельное обсуждение личности друга детства, словно он в одночасье превратился в пуп земли, казалось несоразмерным. У меня не укладывалось в голове, что даже в ее мире он значил так много. За год с небольшим Ларри Шуман превратился для меня в ничто. Предмет разговора, однако, был не так важен, как сам разговор: быстрые «да-да», медленные кивки, переплетение разных воспоминаний — это напоминало «панамские корзины», которые сплетаются под водой вокруг никчемного камня.

Она предложила мне еще чашечку. Когда она принесла кофе, то села не напротив, а рядом, чем вознесла меня на такую высоту признательности и обожания, что единственным способом это все как-то выразить было ее не поцеловать, как будто поцелуй унизителен для женщины. Она сказала:

— Холодно. Чертов скряга, поставил термостат на шестьдесят. — Она имела в виду своего папашу.

Она обвила мою руку вокруг своих плеч, а мою ладонь положила на свое обнаженное запястье, чтобы согреться.

Мой большой палец оказался прямо у нее под грудью. Голова ее легла в ложбинку между моей грудью и рукой. Сразу стало понятно, какая она маленькая по сравнению со мной. В ней было, наверное, всего фунтов сто весу. Ее веки смежились, и я поцеловал ее прекрасные брови, а потом лоб, отодвинув с него ее жесткие кудряшки. Но это и все: вообще, я честно старался не шевелиться, как если бы я был предметом мебели, кроватью. По другому, не согретому ею боку пробегала дрожь, и, пытаясь ее унять, я непроизвольно передергивал плечами, тогда она хмурилась и сильнее прижимала к себе мою руку. Никто так и не выключил свет на кухне. На верхней губе у Маргарет, казалось, запечатлелись две карандашные риски. Мое запястье, торчавшее из коротковатого рукава рубашки, казалось бледным и голым по сравнению с рукой поменьше, которая обвивалась вокруг него.

На улице, куда дом выходил фасадом, не было ни малейшего движения. Только раз проехала машина: около пяти часов, с двойным глушителем, с включенным радио и горланящим песни мальчишкой. Нил с девушкой без умолку бормотали. Кое-что мне удалось расслышать.

— Нет, кого? — спросила она.

— Мне все равно.

— А ты бы не хотел мальчика?

— Кто бы ни родился, я был бы счастлив.

— Я знаю, но кого бы ты больше хотел? Разве мужчины не хотят сына?

— Для меня это не важно. Я хочу тебя.

Чуть позже по противоположной стороне улицы проехал молоковоз Мона с включенными фарами. Молочник, хорошо экипированный, сидел в теплой оранжевой кабинке размером с телефонную будку. Он рулил одной рукой и курил сигару, которую клал на край приборной доски, когда нужно было выскочить из машины с бутылками, уложенными в дребезжащую проволочную сетку. Когда молочник проехал, Нил решил, что нам тоже пора. Маргарет проснулась в страхе, что папаша нас застукает. Мы наспех шепотом распрощались и поблагодарили Маргарет. Нил подвез свою подругу до дома — неподалеку, в нескольких кварталах; дорогу он знал. Должно быть, я все-таки видел ее лицо в тот вечер, но не запомнил. Она так навсегда и осталась для меня девушкой, уткнувшейся в журнал, или укрытой тьмой, или повернувшейся ко мне спиной. Я знаю, что много лет спустя Нил женился на ней, но после нашего приезда в Чикаго я никогда его больше не видел.

Когда мы в компании нескольких автомобилей проезжали через Олтон, алые отсветы восхода уже касались облаков над черными шиферными крышами. На циферблате часов, размером с луну, на пивном рекламном щите было десять минут седьмого. Олинджер словно вымер. Когда мы выехали на шоссе, стало светать, а когда проезжали длинный поворот у меннонитской молочной фермы, над рощей замаячила сияющая стена моего дома. Из «мелкашки» я бы мог достать окно родительской спальни, а они-то спят и видят, что я в Индиане. Мой дед скорее всего уже встал, топочет по кухне, чтобы бабушка поторапливалась кормить его завтраком, или вышел на улицу посмотреть, не затянулся ли льдом ручей. На мгновение я всерьез забеспокоился, что он может окликнуть меня с конька амбарной крыши. Потом между нами выросли деревья, и мы оказались в безопасности, в местности, где никому до нас не было дела.

При въезде на магистраль Нил сделал странную вещь — остановился и пересадил меня за руль. Раньше он никогда не доверял мне водить отцовскую машину. Считал, что раз я не могу отличить коленвал от бензонасоса, то и водитель я никудышный. Но сейчас он пребывал в весьма благодушном расположении духа. Залез под старый плед, прислонился головой к металлической оконной раме и вскоре уснул. Мы пересекли реку Саскуэханна по длинному ровному мосту ниже Гаррисберга, затем начался подъем на Аллеганты. В горах лежал снег; сухая, как песок, поземка металась взад-вперед по дороге. Выше по склону этой ночью выпал свежий снег, дюйма два, и бульдозеры еще не расчистили все шоссейные полосы. Я обгонял грузовик на крутом повороте, как вдруг, без всякого предупреждения, расчищенная полоса оборвалась, и меня могло снести на ограждение, а то и вовсе в кювет. Радио распевало: «Ковры из клевера я положу к твоим ногам», а спидометр показывал восемьдесят пять миль. Ничего не случилось. Машина уверенно шла по снегу, и Нил проспал опасность. Он повернулся лицом к небу, и дыхание захлебывалось в носу. Я еще ни разу не слышал, чтобы мой сверстник храпел.

Когда мы въехали в страну туннелей, треск помех, свист и завывание приемника разбудили Нила. Он сел — плед сполз с его колен — и закурил. Спустя секунду после того, как он чиркнул спичкой, наступил момент, после которого каждое следующее мгновение становилось чуть короче; мы выехали на длинный неравномерный спуск к Питсбургу. У меня было много причин ощущать себя счастливым. Мы были в пути. Я увидел восход. Пока что, и Нил мог это оценить, я благополучно справлялся с машиной. Впереди меня ждала девушка, которая вышла бы за меня замуж, если бы я сделал ей предложение, но сначала мне предстояла долгая дорога — много часов и городов лежало между мной и этой встречей. Десятичасовой солнечный свет в воздухе перед ветровым стеклом, просеянный сквозь тонкую облачность, обладал таким свойством — словно благословлял на легкомыслие… Казалось, можно рассекать эту студеную прозрачную стихию хоть целую вечность, и сердце готово было выпрыгнуть из груди и устремиться к вершинам этих гор, и всего тебя распирало от гордости за Пенсильванию, за твой родной штат — словно жизнь удалась, сложилась, состоялась. А еще было сознание того, что дважды после полуночи кто-то доверился мне настолько, что уснул рядом со мной.

1. Война между Южной Кореей и Северной (КНДР), длившаяся с 1950 по 1953 г., во время которой США оказывали ощутимую вооруженную поддержку Южной Корее. [↑](#footnote-ref-1)
2. Гудмен Бенджамин Дейвид (1909—1986) — американский джазовый кларнетист, композитор, один из основоположников свинга. [↑](#footnote-ref-2)
3. «История Генри Эсмонда» (1852) — роман английского писателя У. М. Теккерея (1811—1863). [↑](#footnote-ref-3)
4. «Ave Maria Gratia Plena» — первые слова латинской католической молитвы «Радуйся, Мария Благодатная!..» [↑](#footnote-ref-4)